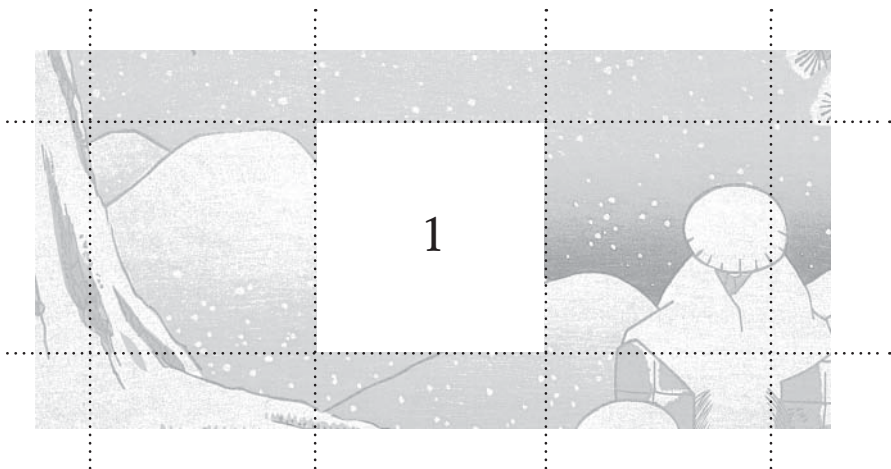


記憶の定義

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАМЯТИ



Это был мой год.

И зима началась тогда, когда Горацио вышел на сцену и произнёс своё «Дальше – тишина». На каждый звук его лёг первый снег. А потом больше, больше и больше... Где они взяли буддистского монаха с метлой, не знаю, но усердие и сила его не помогли, как ни старался, как ни молился. Себя испепелил, развеял, а сугробы – как лепестки небесных ирисов вперемешку с клубами туч – всё выше, выше и выше. И даже огненный цвет его одежд ни одной снежинки не растопил. Зима вырастала, как вырастает подозрение.

И весь финал «Гамлета» уже остывал под огромнейшим снежным сугробом (прошу прощения у умного читателя за тавтологию – «финал “Гамлета”» – это то же самое, что «финал финала», «финал конца», но...). Я из-под него так и не выбрался. И скоро не выберусь, потому что...

Сейчас только январь, а я уже вчера вспомнил маму...

Весело вспомнил. Так щедро я давно не смеялся!

Я долго её ублажал. Впечатлял, восхищался, упрощал, веселил, делал её мудрой и дурнушкой, красиво страдал и разрешал эту маску примерить ей. О, какой это тяжёлый труд! Но Лермонтов торопил, подстёгивал раздражённо: «Какое дело нам, страдал ты или нет? На что нам знать твои мученья?» Мол, пора!

И вот тонкие, однако, уже нервущиеся настроения комнаты полностью отвечают фабуле дешёвого любовного романа: она, как и положено, напоена запахом ели, зимы, мандаринов и теплом

камина, а мы – вином и страстью. Даже противно стало – всё как надо в таких случаях, и никакого вкрапления дивного. Разве что Она... А так – всё банальная поэзия, в чём-то даже стандартная, с ритмом, соответствующим механическому ритму двигателя внутреннего сгорания объёмом не более 1,3 литра, даже подумалось, что могло это почти новогоднее свидание и другими ассоциациями быть обставлено, однако разве *в этом* до разума в поисках уникальности и до мудрой мотивировки истерики души и сердца? И Она уже раздета, и таким нетерпением дыхание своё пытается, что я, раскидывая свои осточертевшие, давно уже жаркие одежды, даже оглянулся: а кто же палач? И вот остался самый последний, главный штрих... И его я не вывел... Даже точку не поставил... Огромнейшие, немцами без зимы напридуманные ботинки не снимались... Шнурок вместо того чтобы легко скользнуть, съедая банты, в такой узел затянулся – ни ногтями, ни зубами не развязать. Сначала один, а потом и второй – ещё туже, смертельнее, как два приговора – безнадёга. Немцы... Ох уж эти немцы! Опять! Они всё делают надёжно... На этих шнурах самолёты можно запускать – не вырвутся. Штаны полуопущены, ботинки-кандалы на ногах...

Я на земле.

А Она давно уже в таких небесах...

О!

Девочка, спойте арию.

Или Берию.

Или джаз в бухгалтерии –

Грубый, как мысли кассирш.

Девочка, восхититесь лекалу.

Или Шагалу.

Какая разница, Христу или галлу,

Когда плоть разливом казенных
солнц.*

Появился какой-то совершенно другой текст, и смысл его не читался привычным образом. Надо было ковыряться в словах, выискивая нужные буквы, и строить наново то содержание, которое ты уже знал, с которым успел свыкнуться. А здесь оно ожило в другой, искусственной ипостаси. И совсем не поддавалось воссозданию, ибо натренированный познавательностью ум рефлексивно тянулся

в одну сторону, а смыслом что-то невидимое и незнанное уже управляло с другой. Одно и то же, но разное. Этакая леди Макбет, которая может сказать, что «Я кормила грудью детей», и тут же Шекспир со стыдом уточняет, что, мол, да это так, просто к слову пришлось, а «у неё нет детей» и в помине никогда не было, какая грудь? Вот тебе и на... И пойми её, рассекреть... А она же к этой, скажем мягко, двойственности и неопределённости на века привязалась. И Гёте в этом было так запутался, что окончательно понял: а ведь вся жизнь впустую, ибо много написано, но ничего не открыто, а наоборот, как бы всё уже навсегда закрыто... «Карут!»

Так и здесь в подобной двойственности состояния всё вроде бы чувствовалось, но ничего не прочитывалось. И обозначало... О Господи! Это, ведь уже было когда-то! И точно что со мной! Но определить сущность эту не могу... Какая-то ну абсолютно новая поэзия, не рифмующаяся ни внутри своих неусовершенствованных значений и причудов, ни со смыслами реальности.

Вы не верите, но говорю вам, что, ей-богу, все эти ожерелья, обрубки, слитки, песчинки, скелеты мыслей носились, болтались в пропастях головы именно в то время, когда им там вообще места не должно быть, ведь совсем рядом, даже слово туда не долетит, ибо путь такой короткий, что и смысла для полёта такого нет, лежала Она. А тут поэзия такая в голове рифмы новые соизмерять начала.

А сверху ещё и Сократ навис и животом булькает – вот-вот сорвётся... «Ходил я к поэтам и спрашивал у них, что именно они хотели сказать. И чуть ли не все присутствовавшие могли бы объяснить: то, что сделано этими поэтами, лучше, чем они сами. Не мудростью могут они творить то, что творят, а какой-то прородённой способностью и в исступлении, подобно гадалкам и прорицателям».

И когда речь мудреца докатилась до слова «исступление»...

Бульканье в животе философа прорвало так давно ожидаемой патетикой грозового утра, уготовленного рабами прямо ко времени пробудки свободолюбивых господ полиса...

Вот тут я совершенно по-кинематографически и рассмеялся.

А потом таким хохотом подавился, что не помню как и пол обнял. Сознание в такую трещину провалилось, что сейчас не лишним было бы Бетховену в бубны зашуметь, чтобы атавизмы мои напрочь и поосыпались. И катался, катался, катался посреди разбросанных

одежд, последних отблесков каминного огня и обломков памяти, которые, словно сто ликов Бога в первые сто лет его жизни, сейчас достраивали дивный узор на обноскох старого, ещё австро-венгерской империи, ковра.

И вспомнил маму...

Вот такая простота: передо мной сейчас даже не на расстояние несмело вытянутой руки, а всего-то-навсего на ту неуловимую тонкость линии слитых губ – на поцелуй, прекрасная обнажённая женщина, пылающая любовью и нетерпением, давно готовая принять меня всего, а я в ботинках, катаюсь по полу с полуопущенными штанами и сияющим срамом, ревуший смехом, но главное, вспомнивший вдруг маму. И такая пустота вокруг этого света, что к другим точкам памяти и не докричаться, и не подступиться. Эх, бедный Достоевский с его «одному тяжело знать истину». Её, эту истину, не только может знать, но и нести всегда готова моя мама.

А было мне лет пять. Аж пять! С нетерпением ожидал то утро, когда вместе с мамой пойду на новогодний утренник. Ёлка, огни, снег, Дед Мороз, подарки и тот особенный аромат и вкус праздника. Единственного. И вот оно, то самое неповторимое утро, настало. Я в суете мечусь по комнате, сам одеваюсь, чищусь, моюсь, причёсываюсь, обуваюсь, и весь такой радостный-прерадостный, точно родился исключительно только для этого праздника и для этого дня...

«А шнурки на ботинках, пожалуйста, завяжи сам».

«Как сам? Я не умею! Не хочу! Я спешу! Мы не успеваем!»

«Нет. Только сам. Завяжешь – идем на праздник ёлки. Не завяжешь – сидим дома. Пора уже и мелочам учиться в этой жизни».

Как отрезала... А так безвозвратно красиво всё начиналось...

Я зарыдал, заохал, начал мудрить какие-то витиеватые спирали, соединения, крутить, заворачивать, распрямлять бесконечную длину совершенно неуправляемых шнурков, а в итоге получил невероятное количество бантов, петель, которые в конце концов скомкал в один пучок путём резкого стягивания двух теперь уже укрощённых концов... Фу! И получился огромнейший узел.

«Нет, так ботинки не завязывают».

Эта мамина скорбь таким разочарованием легла мне на душу, что даже сердце под ним просело и затикало так часто, что мне его не догнать. Убежит. Точно что убежит...

Ни ногтями, ни зубами развязать этот узел я уже не смог. А ещё

он разбух от слёз и соплей и стал таким твёрдым, что кость казалась в тысячу раз податливей. И надо было бы спешить, а резать нельзя. Боже упаси! И вижу, что беда. Горел ярким огнём мой новогодний праздник, пропали радость и надежда. И тот особенный аромат ели, настоящий на пряностях праздника. Ботинок, казалось, навсегда прирос к ноге. А потом и второй приковался ещё большим узлом.

Сколько я плакал, какие молитвы с причитаниями виньетками соплей украшал – не помню. Однако же мама смилостивилась, узлы развязала, как следует завязки оформила, в лоб поцеловала, засмеялась, и ёлка состоялась.

Тот праздник и те узлы, большой и поменьше, на шнурках ботинок я навсегда запомнил. И на всю последующую жизнь тем единственным вниманием, которым приходилось в радости ли, злобе или даже в полном отчаянии одаривать узлы, было только их развязывание и никогда разрезание. Это таинство какой-то полноты и завершённости действия пришло от мамы: «Как можно на коробке с тортом или на подарке спешно резать узлы? С этим уйдёт тайна... Она не может явиться незаконченным образом. Всё должно быть неспешно развязано до конца...»

И сейчас точно такой же узел перечеркнул всё. Ну совершенно всё. Ведь была же какая-то логика, пусть даже и неосмысленная, слепая, обозначенная только штрихами страсти, но вела, направляла. И где она? Ау! Только смех. И мама.

А Она совершенно ничего не могла ни понять, ни исправить, ибо то, *неожиданное, уже произошло...*

А под утро Она умерла. Нет, не со мной, а у себя дома. От смеха или сердце остановилось – точно не знаю... А если по-правде – не помню, ибо в беспомыслии долго находился...

Но мама об этом не знает... И о Ней совсем и не догадывается... Она и тот случай с ботинком и ёлкой забыла напрочь.

А я вспомнил.

В Амстердаме.

В музее Ван Гога, где я как биограф мамы обязательно должен был побывать. И побывал. Ну как без этого? Она же не какое-то там художественное творение, чтобы могла саму себя в совершенстве объяснить. Она просто мама. И чтобы определить, а что же она в своей сущности и есть, требовалось такой, казалось бы, совершенно инородный мир присовокупить и перетрясти, таким Колумбом

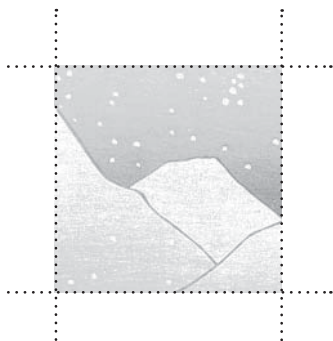
избороздить поднебесье и наднебесье, что и жизни не хватит с этим всем справиться. Поэтому Амстердам и стал одним из миллиона тех маленьких звеньев, которые помогали соединять воедино огромнейшие валуны биографической породы.

А Ван Гог я люблю, это безусловно. И то, что всё, последовавшее за ним во времени (и только пространство в учёт не берётся, когда перед нами Гений), так или иначе соприкоснулось с особым способом выражать непонимание этого мира Винсентом – это тоже безусловно. А если так, то и маму мою коснулось и, не дай Бог, упустить это и не поместить тонким слоем между уже разложенными, отшлифованными и подогнанными один к другому осколками биографии – это уже в третий раз безусловно.

Господи, аж закурить захотелось. И дымил бы я, как минимум, сигарами Diamond Crown Maximus, однако же нет у меня, тоже как минимум, двух приличных вещей – приличного хьюмидора и ещё более приличной супруги Клементины, которая сшила бы для меня асбестовый передник, дабы куря во сне я дом свой и не сжёг.

А потому я составляю биографию мамы.

И не боюсь повториться: сейчас хочу разобраться в простом – каким порядком приобщён к такому будничному и, казалось, совсем прозрачному расписанию её жизни никто иной, как Винсент Ван Гог? Чувшь? Возможно. Имею полное право и на чувшь. Но эту маленькую клеточку я должен выразительно зарисовать, чтобы уверовать в выдох – пройдено! Пошли дальше! А следующей клеточкой может стать... А что, может даже... Андрей Рублёв! Тот самый иконописец. Помните, лучше всех умел рассказывать троих... И более точно, чем кто-либо другой делил неделимую печаль между ними.





2

Однако же Ван Гог первым убедил, что он не просто каким-то косвенным образом, настоящей на абсенте догадкой опрокинул свою тревогу в сосуд моего незаинтересованного ума, то есть любви, а прямо-таки как есть непосредственно передал её, голубушку, почти из рук в руки. «На, держи, только к уху не прикладывай... Иначе... Тело во владении короля, но король не во владении телом...»

Все этажи музея я обходил не один раз, ибо пропадали и дар речи, и памяти, и сознания, и самой жизни: воронки цвета, штрихи света, вулканы потоками сине-голубого и горящего золота испепеляли и с такой энергией уносили в утробу подсознания, что, казалось, не под тем солнцем и небом всё это время жил и в коже совсем не той хожу. Даже стягивать, сдирать хотелось. И всё время лабиринт вангоговских нетленностей выводил на второй этаж – все залы, коридоры, лестницы стекались туда. Да-да, именно в покои его пробуждения, когда дышалось почти одной землёй и таким сумраком, что хоть сейчас бери и любую работу вспахивай, засеивай зерном, и сразу же всё таким колосом прорастёт, однако же на третьем этаже, где появилось солнце и небо...

А здесь, на втором, снова и снова мама вспоминалась и уже никуда не уходила. Здесь были «Ботинки». Не «Подсолнухи», не «Ирисы», даже не сады Арля в их разноликих настроениях, а словно бы вырубленные из затоптанной в камень полевой дороги

крестьянские, огромнейшие, скрюченные, однако же живые, как откатившиеся с соседнего полотна две проросшие весенние картофелины. Устали и прилегли. И шнурки развязанные! Прямо вот так свободно пораскидывались в разные стороны, будто бы на них и хозяина приличного не нашлось. Как мне хотелось их завязать! Красиво, двумя ровными бантами и чтобы потом одним малейшим движением за самые кончики – раз, и свобода! Эх, как мама будет мною гордиться!

Однако с этим ликованием пришло и разочарование, ибо как здесь не крути, какими всхлипами очарования не наполняй душу, а мама-то вспомнилась исключительно только с теми злопамятными узлами, в своё время чуть ли не вусмерть затянувшими праздник...

Ага! И я стал вслушиваться в себя. Вот сейчас для катарсиса самое время: два крыла – чёрное и белое – ворота своих смертельно-живительных объятий распахнули. Ну! Ведь налицо настоящая трагедия. Классическая. Почти по Аристотелю: «Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определённый объём, при помощи речи, в каждой из своих частей различно украшенной, посредством действия, а не рассказа, совершающее, благодаря состраданию и страху, очищение подобных аффектов». А что, угадал?!

И разглядывал, разглаживал это воочию зримое зарождение трагедии, умом перещупывал, речь проглотив и таким образом повернув её вовнутрь, от повествования вообще напрочь отказался (и не уговаривайте!), только как-то не дотягивала эта совпавшая, но так и не сросшаяся капризность противоречия до приличия хотя бы аристотелевского понимания трагедии.

И главное, что с этакой неоформленной и невнятной трагедийностью «очищение» не приходило. А душа-то уже настроилась, на цыпочках поднялась, дыхание затаила и такой кроткой стала, словно бы и праздники никогда не переживала, а, несчастная, только по будням сплошным и слонялась...

Одно эта душа проглядела, то ли по недомыслию, то ли по своей скорбной простоте, что в сумме всю хитрость сообразительности как бы и притормозило: не получается у меня, как у Гамлета. Ну никак, сколько ни старайся быть странным, однако же фабула

моей трагедии упиралась и не хотела совпадать с движением души. Гамлету было проще: его чувства и события так слиты воедино, так одно другим обозначены в каждой точке равновеликого напряжения внешнего и внутреннего, что каждый шаг – это уже трагедия, и общей её, той великой и всезначимой, как бы и нет, потому, как всегда, она ещё не наступила, не накопила всей полноты трагического пламени, ибо все нити, стягивающие, сращивающие фабулу и душу, не свяжутся никогда, а будут плестись, плестись одна вокруг другой, третьей и сотой. А узла и не получится.

Это вам не шнурки на ботинках...

А у меня этого бесконечного количества точек странного соответствия души и событий раз-два и обчёлся, а может, и вовсе нет. А так сразу одним махом, как амёба какая-то неделимая, – трагедия во весь свой непомерный рост – бамц! – и восстала, и ни тайны, ни интереса, а одни невоспламеняющиеся слёзы и сопли. Одно успокаивает – можно красиво всё это растереть.

Вот и стою, честно катарсиса ожидаю, а он не приходит ни со стороны такой вот одноклеточной моей трагедии, ни с боку полотна Ван Гога, ни из-за пазухи памяти. И сиротствует эта моя не дотягивающая даже до карата одинокая трагедия. Зато вспомнил маму...

Как вдруг по залу шумок, шёпот, довольное, почти квалификационно оценивающее потирание рук: «Сам! Специалист по ботинкам! Хайдеггер! Хайдеггер!»

«Хайльдеггер! Хайльдеггер!» – запричитали, словно вивисекции старательно проводили, утвердительно думающие немцы-экскурсанты. «Сам! Лично! Хайль!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!деггер!»

А тот проходит и только глазом косит на те самые крестьянские ботинки, и одними краешками губ речь со смыслом и нагнетает, и внедряет в каждое эстетически подготовленное и окрепшее в борьбе с критицизмом ухо, точно даёт понять, что, господа, пора научиться качественно отшелушивать подлинное бытие от унизительного быта, ибо быт раскорячился, как Ван Гогова крестьянка на жатве и, соответственно, не требует понимания снизу вверх, а только сверху вниз. Ах, мол, господа! И красивыми, телесного цвета кожаными перчатками с неразборчивым синим рисунком сверху уголки своего рта и протирает, и прочищает, складки там заодно

и массируя. И такая она, его словесная патология понятная – безо всякого переводчика, а я тут столько часов возился с этим электронным экскурсоводом – ничего вразуметь толком не смог, только «плиз» да «плиз»... Я стою у одного полотна, а он, этот подсказчик с кнопками, заученным хрипом тарабарит уже далеко о третьем творении Винсента, а о каком именно и не понятно, потому как уже лет сорок эта драгоценность припрятана у какого-то остроумного японца, которому этот Гог или Ван...

А Хайдеггер что-то говорит тихо, скромно, и всё точка к точке – сплошная умственная слитность: «Только мир пронизывает земля, и только на земле зиждется мир – коль скоро истина совершается как первоизданный спор просветления и сокрытия. Но как совершается истина? Наш ответ: она совершается немногими существенными способами. Один из способов, которым совершается истина, есть бытие творения творением. Творение, восстанавливая мир и оставляя землю, ведёт спор о несокрытости сущего в целом, об истине.

Храм стоит на своём месте, благодаря этому совершается истина. Это не значит, что нечто верно передаётся и воспроизводится, – здесь сущее в целом приводится вовнутрь несокрытости и удерживается в ней. А удерживать – значит здесь хранить и быть хранящим кровом. На картине Ван Гога совершается истина. Это не значит, что нечто наличествующее верно срисовано, но здесь открывается дельность башмаков – изделия, и таким образом сущее в целом, мир и земля в их противоборстве, оказывается в несокрытости.

В творении творится сама истина, следовательно, не только вообще что-то истинное. Картина, являющая крестьянские башмаки, стихотворение, являющее в слове римский фонтан, – они не только изъявляют (если они что-то изъявляют), что есть такое-то сущее по отдельности, но они дают совершиться несокрытости как таковой – в отношении к сущему в целом. Чем с большей простотой и существенностью расходится в своей сущности изделие – башмаки, чем чаще и неприкрашеннее расходится в своей сущности фонтан, с тем большей непосредственностью и привлекательностью становится всё сущее, множа свою бытийственность. А тогда просветляется сокрывающееся бытие. Такая светлота встраивает своё

сияние вовнутрь творения. Сияние, встроенное вовнутрь творения, есть прекрасное. *Красота есть способ, каким бытийствует истина – несокрытость».*

Хотел было Хайдеггер и дальше столь же выразительно мысль свою трезвую декламировать, руки красиво на груди или под самым животом складывая, потому как в роль сложную почти что неистово вошёл, однако же текст забыл, замялся и умолк – сколько заучил из Шеллинга, столько и проронил – следующим разом надо больше списывать, заучивать, а то можно откровенно и опростоволоситься.

А потом берёт этот Мартин Хайдеггер да принимает свободно позу инструктора по конной выездке и внизу под картиной Ван Гога инструкцию, на трёх языках выпечатанную, и зачитывает, и выразительно так, будто бы наизусть её всю помнит, и словно на плацу. Немец, что с него возьмёшь. А дать нечего. А он, этот Хайдеггер, словно раз и навсегда для себя исключительно всё решивший реформатор Лютер, подробно и чеканит: «Обувь необходимо чистить вечером, а не утром – перед самым выходом на улицу. Возьмите себе это за правило. Тогда утром не только избавитесь от этой процедуры, но и сохраните несколько драгоценных минут, которых всегда так не хватает. Ваксой ботинки намазывайте на ночь, а до блеска натирайте их уже утром. Ухоженная обувь долго сохраняет привлекательный вид и преждевременно не изнашивается и не потрескается.

В мокрой обуви прежде всего необходимо вытереть середину, а потом все внешние элементы тряпкой, а после плотно забить внутренние пустоты газетами «Унзере цайт». Намазывать ваксой можно только сухие ботинки. Берегите обувь! Этим вы красите нацию!»

И так читалось аж три раза, пока на всех языках и наречиях весть не достигла каждого притихшего почитателя вечного.

Без оваций, без лишнего изматывающего пафоса Хайдеггер закончил свою триединую речь, дельно изготовленную его неискоренимо провинциальным мышлением, а главное, произнесённую на языке-молчании, языке-свободе безо всяких там намёков на грамматику, правила и предписания – «так правильно, а так совсем даже и нет», где нет никакой замкнутости и однозначности. А потом

помялся, помялся да искренне и добавил: «...чтобы человек мог, однако, снова оказаться вблизи бытия», – и ткнул при этом своим указательным пальцем не в крестьянские ботинки Ван Гога, а куда-то себе за спину: «...он должен сперва научиться существовать на безымянном просторе. Он должен одинаково ясно увидеть и соблазн публичности, и немощь приватности. Прежде чем говорить, человек обязан снова открыться для требования бытия с риском того, что ему мало или редко что удастся сказать в ответ на это требование. Только так слову снова будет подарена драгоценность его существа, а человеку – кров для обитания в истине бытия».

Однако же слово «кров», видно, сознательно произнёс как «кровь», а потом по-женски легонечко так, как колоколом, стал капельницей позванивать. Прежде я даже и не замечал, виделось только постоянно меняющееся, плывущее отражение, что всё это время он нёс в левой руке капельницу, которая с дрожью и всхлипами нагнетала густую кровь, с какими-то хлопьями краплака, кристаллами нерастворившегося света, слитками остывших взглядов в послушно движущиеся сзади по паркету зала, словно две детские машинки, ботинки (в их-то сторону и тыкал пальцем Хайдеггер), как бы точно похожие на те два, что первобытной правильностью паровались на полотне. Однако на той с трубками, клапанами, иглами обуви, медленно, как на поводке, ползущей за Хайдеггером, сейчас можно было выразительно увидеть, даже потрогать, словно бы подсвеченные изнутри, пульсирующие, совсем прозрачные и точно живые потоки узловатых вен, выползающие вовне в облике длинных подрагивающих шнурков. И кожа на них совсем не походила на ту, которой гордились шахтёрские или крестьянские ботинки Винсента, – она была выразительно свежей и такой жизнью пылала, словно только что из какого-нибудь Бухенвальда или Маутхаузена прямо сюда и доставлена. А какие сочные языки из этих ботинок вывалились! Фу, как противно... А Хайдеггер по-немецки только в губу верхнюю нравоучительно, как Томас Манн, хихикнул, прилипший колониальный табак, некомплектными неарийскими неграми изготовленный, с неё почти что трогательно сдул и так же тихо, как явился, поплыл дальше, перебирая высоко в воздухе своими длиннющими ботфортами, которые впереди почему-то во всю

безмерность имели разрезы и густые шнуровки, заканчивающиеся и справа, и слева красивыми, на немецкий манер вывязанными бантами. И обе лоснящиеся единицы этой бутафорной обуви были предназначены только для правой ноги... Может, для него это и были ботинки, но если сравнить... Однако шнурки завязаны красиво и умело... А потом этот Мартин Хайдеггер и вовсе авторитетно растворился в следующем зале, так что и сравнивать не пришлось, ибо не успелось. Но там был уже Париж Ван Гога, а парижане таких ботфортов (они и ботинки заодно) не носили. То ж Париж...

«Командир ВЧ 15956, полковник Пушкин А.Г., приехавший в плацкарте помиротворить и посмотреть на НАТО, – громко разнеслось из спрятанного где-то динамика по всем этажам музея, – просим забрать с подоконника четвёртого зала забытую Вами лётчицкую фуражечку с блестящей кокардой! И поторопитесь к выходу, вас там нервно ожидает командир 1-ой авиаэскадрильи подполковник Григорьев В.И. по поводу какого-то срочного и секретного рапорта. И ещё, постарайтесь всё-таки строевым шагом здесь не ходить! Это приют глубоко раненного, а потому обречённого искусства! Удачной Вам экскурсии и трезвого прозрения! И пусть Вас сопровождает эта величественная поэзия охранников музейных залов, которую вдогонку Вам прочитает сержант полиции Кофман, оберегающий сокровища третьего этажа нашего музея».

Сержант начал бубнить поэзию охранников, накрывая все залы музея полицейской рифмой. И здесь же параллельно дикторша впечатляюще модной хрипотцой Моны Лизы незабвенного Леонардо да Винчи прокашлялась на до одурения непонятном иностранном языке, а потом голосом Джоконды опять повторила на вполне проникаемом наречии: «Командир ВЧ 15956, полковник Пушкин А.Г., просим забрать с подоконника четвёртого зала забытую Вами лётчицкую фуражечку с блестящей кокардой! И поторопитесь к выходу...» И здесь же безотрывно от возвышенно небесного интереса и совсем даже в тему вполне выразительным распевом заторопилась, энергичнее, чем правая ультра из группы landser, злобу дня разбрызгивая напрямиком на звёзды, погоны и честь вдруг неожиданно растерявшихся и полковника Пушкина А. Г., и где-то аж у самого выхода подполковника Григорьева В.И.: «Лётчик-бундесверец, ты

идиот, сербы достанут тебя с неба, и поделом – что ты там забыл? Делаеть то, что велит тебе Америка...»

«Брать или не брать фуражку? А вдруг это чопорно организованная провокация НАТО? Я о нём, этом империалистическом блоке, всё до самой кровавой точки знаю – Библию читаем не зря! Может, хотели, чтобы и я подпевал? Заманивают! Погубит меня это НАТО, как несчастного Ван Гога погубило... Ох же и истребит... Лучше бы в небе! В бою!, – прикрикнул на себя полковник Пушмин А.Г., – ...Но голос... Такой знакомый... Как у прапорщика 2-й авиаэскадрилии Козостойкой Мальвины Максимилиановны..., когда она в каптёрке вот так: «Э-э-э! Джага! Джага! А-а-а...» О! Голос... О! Прапорщик... О! Каптёрка! Это – не напряжённый музей Ван Гога...»

И дикторше пришлось в третий раз повторить: «...Полковник Пушмин А.Г., а ещё Вы забыли отметить своё командировочное удостоверение в НАТО! Зайдите, Вам штампик поставят!»

Подлинным голосом Моны Лизы...

Откуда здесь и сейчас, когда голос этот даже касательной стрелой не зацепился за историю? Только молчанием. И призрачной улыбкой. Откуда же он здесь пророс?

Не знаете?

Пока голос Джоконды искромётно влетает в лётчицкие уши полковника Пушмина А.Г. и подполковника Григорьева В.И., коротко вам напомню. Да Винчи сотворил свою прелестную картинку где-то в начале 1503 года. Ему, как Вы достоверно знаете, позировала 24-летняя Лиза Герардини, жена богатого торговца шёлком и джинсовой тканью из Венеции. А в 2002 году японский учёный Мацуми Судзуки ухитрился по длине пальца картинной Лизы Герардини вычислить приблизительно точный её физиологический рост. Затем были определены структура её черепа, размеры костей носа и эластичность тканей гортани, то есть всех компонентов, влияющих на звучание голоса. Затем Судзуки обратился к своей фонотеке, содержащей 150 тысяч голосов, и попытался найти человека с аналогичными физическими данными, как у покойной Лизы. Известно, что решающую роль в придании голосу отличительных характеристик играет форма рта, горла, строение скелета. А ещё время года.

И вот вам результат – компьютерная программа с использованием звукового синтезатора завершила воспроизведение голоса самой знаменитой женщины в мире. А уже после музеи, вокзалы, аэропорты, бани и пиццерии подхватили и умножили моду теперь уже *на голос* Моны Лизы в его декабрьской стилизации.

Скажу больше, этот учёный Мацуми Судзуки умудрился вычислить достоверные размеры всех нехитрых компонентов тела Джоконды: сердца, лёгких, печени, наполненность желудка, длину кишок, даже толстой, параметры и особенности половых органов (кстати, исходя из знания точной картины последних, определил предельно точные объёмы члена у мужа-торговца Моны Лизы, свойства темперамента, пределы утренней и ночной страсти). Время сделало своё... И как это ни прискорбно, но на помощь растлевающим чувствам пришла всеобщее произрастающая тяга к научному познанию, и, соответственно, выросла возможность более точного определения глубины, длины, объёма, физической напряжённости искусства... И оказалось, что оно... Ху-ху! Экая мудрёная простота!

Но это, слава Богу, к происходящему событию в музее как бы отношения и не имеет. Только подлинный голос Моны Лизы (времен декабря) из динамиков: «...Вас там нервно ожидает командир 1-й авиаэскадрильи подполковник Григорьев В.И. ...И ещё, постарайтесь всё-таки строевым шагом здесь не ходить! Это приют глубоко раненного искусства! Удачной вам экскурсии и трезвого про-зрения-я-я-я!»

«Зрения! Зрения! Зрения!», – расталкивало эхо любопытствующих зевак по углам, точно, как минимум здесь же, прямо сейчас в очаге наивысшего поражения правильно вышколенного вкуса объявлена была всеобщая мобилизация отступленческих настроений без права последнего взгляда в сторону Ван Гога. «Зрения! Зрения!» Эхо – не призыв, эхо – тревога... Проигрыш. А казалось, всё так просто: эхо – звуковые колебания воздуха, порождённые речевым аппаратом человека, которые должны, распространившись, отразиться от ретранслятора, чувствительного к волнам аналогичной длины... Всё просто. Потому что в таком варианте понимания никакого проигрыша не дожждаться.

И действительно, как ни старались, как ни отвлекали от пути

разума свои разомлевшие волнения посетители музея, а никто и ничего в момент отработки эстетической версии духовного возрождения не проиграл. Да и попробуйте это сделать, если декабрьский голос Моны Лизы подарил зиму. Настоящую. Звонящую льдом и хрустящую снегом. И все гости музея без просьб, команд и поводырей в один миг скопились, сроднились на втором этаже у неожиданно ставшего самым впечатляющим полотном Ван Гога «37-ой зимний вид горы Фудзи из самого центра Арля».

А значит, пора объявлять нелётную погоду.

